

Н. Корнилова
Пушкин

**И.Ф. Анненский на пороге
«Некалендарного XX века»
(царскосельские дни 1908 – 1909 годов)**

Неполные четырнадцать лет, проведённые И.Ф. Анненским в Царском Селе (1896 – 1909), соединили имя поэта с этим городом неразрывной связью. Царское Село не только место его проживания, но и, прежде всего, очерченный им самим круг «поэтических владений» (Царскосельский сад, Императорский Лицей, старые улицы бывшей дворцовой слободы), ставшие источником творческого вдохновения и находившиеся в то же время в полном соответствии с пристрастиями Анненского как учёного-классициста. Летом 1905 года он окончательно определил своё отношение к Царскому Селу, куда поначалу переезжал с неохотой и свособразное очарование которого оказалось так близко его нежной душе. «Наша летняя картина, — писал он, — бедна красками, но зато в ней есть особая трогательность. «Забвенность» Царскосельских парков точно немножко кокетничает, даже в тихий вечер, с своим утомлённым наблюдателем. Царское теперь просто — пустыня <...> Всё открыто, выметено, нарядно даже ... и во всём какая-то «забвенность», какое-то жуткое отчуждение. Мне почему-то кажется, что нигде не чувствовал бы я себя так хорошо, как здесь».¹ Но именно Царское Село, питавшее поэзию Анненского, надолго «лишило» его поэтического имени. Данная работа служит развитием предварительных исследований,² касающихся переломного периода в жизни И.Ф. Анненского и времени, когда он обретает своё настоящее имя в полной мере: входит в литературные круги, выступает в журнале «Аполлон» в качестве литературного критика современных поэтов, готовит к изданию второй сборник стихов «Кипарисовый ларец». Книга выйдет в свет в 1910 году, уже после смерти поэта, и Н.С. Гумилёв в своей рецензии отметит, что «не только Россия, но и вся Европа потеряла одного из больших поэтов», и даст ему определение «нашего

«Завтра» («...искатели новых путей на своём знамени должны написать имя Анненского, как нашего «Завтра»»).³ Общий рефрен многих высказываний об Анненском соотносит его имя с неким будущим, как, например, слова Н.Н. Пунина об «онережении» поэтом и своих современников и даже самого себя. Да и сам Анненский, рассказывая в письме А.В. Бородиной о работе над переводом Еврипида, ненароком обмолвится: «Нисколько не смущаюсь тем, что работаю исключительно для будущего <...>» (КО, 447). Свидетельница этого наступившего «Завтра», А.А. Ахматова, подхватила и развила в своём стихотворении 1945 года «Учитель» идею «заряда будущности», заложенного в творчестве и в личности Анненского, назвав его «...предвестьем, предзнаменованьем // Всего, что с нами после совершилось...». Сама судьба поэта оказалась пророческой для последующих поколений. Всё то, что мучило и угнетало его, вся боль, томившая и разрывавшая его сердце и изливавшаяся «мучительными сонетами», как будто в одночасье вырвались наружу и обожгли яростным огнём суровой эпохи современников Ахматовой. И великая его жалость ко всему сущему («...всех пожалел, во всех вдохнул томленья // И задохнулся...») тоже оказалась провидческой и будто бы развёрнутой во времени.

Значение последнего в жизни Анненского года, богатого событиями, встречами с новыми людьми, отмеченного «высочайшим творческим подъёмом, расцветом его литературных сил»⁴ так велико, что представляется важным выявить ключевой момент духовного перелома, повлекшего за собой существенные изменения в судьбе поэта. Оставляя в стороне несомненно важные, но исключительно «внешние» события 1905 года — «революционные волнения» в Царскосельской Николаевской мужской классической гимназии (именно они, согласно прочно утвердившейся литературоведческой практике, стали причиной перевода Иннокентия Фёдоровича с поста директора гимназии на должность инспектора Петербургского учебного округа и определили 1906 год «...началом нового — последнего уже — этапа в жизни поэта»),⁵ обратимся к глубинным «внутренним» процессам, происходившим в мировосприятии Анненского — как по поэтическому дару, так и по особенностям характера, человека глубоко внутреннего и при поверхностном взгляде непостижимого. Как отмечала в своих воспоминаниях Т.А. Богданович, наиболее тесно общавшаяся с ним в последние два года жизни: «Внешняя обстановка для него совершенно не существовала, он не замечал её. Всё совершалось в

глубине его сознания <...>⁶. И сам Анненский признавался душевно близкому ему человеку, Е.М. Мухиной: «Меня жгут, меня разрывают мысли. Я не чувствую жизни... Временами внешнее почти не существует для меня» (КО, 479). Один из поворотных моментов, произошедших в сознании Анненского, зафиксирован в его лаконичной фразе, в постскриптуме письма к А.В. Бородиной от 11 октября 1906 года: «Я бросаю псевдоним “Ник. Т-о”» (КО, 469).

Ущипчиво-выразительный псевдоним, выбранный для первого сборника «Тихие песни» 49-летним автором, был не кокетливой попой, а желанием сохранить равновесие между двумя несоприкасающимися мирами — «миром вещей» и «миром идей» (как определил он их в своей речи 1902 года «Художественный идеализм (полюс)» (КО, 217). Но любовно выведенный смысловой ряд псевдонима (от легендарного Улисса до имени обожаемого старшего брата, от анаграммы собственного имени до обозначения ничтожности и в то же время безмерности человеческого существования) не мог защитить от горечи забвения при жизни.

Скоро полночь. Никто и ничей,
Утомлён самым призраком жизни,
Я люблюсь на дымы лучей,
Там, в моей обманувшей отчизне.

Принятое Анненским решение отказаться от псевдонима «Ник. Т-О» означало попытку выхода из «поэтической тени» — напрямую к рукописескающим и уничтожающим читателям и критикам. Период осени 1906 года может рассматриваться как преддверие перелома, момент переосмысления, неизбежного для последующего решительного прорыва к новым рубежам, который действительно изменил (не только внешне, но главное, внутренне) всю жизнь поэта. Он завершился летом 1908 года, когда ощущение необходимости подвести итоги, распрощаться со старым и вступить в новую жизненную полосу достигло своего апогея и привело к вызванному, казалось бы, чисто житейскими причинами, но глубоко символическому по сути, т. н. аутодафе. Это наглядно отражение в скупых, горьких, почти телеграфных строках писем человека тонко чувствующего, но страшщегося пафоса и прикрывающегося самопронией, написанных в июле и августе 1908 года: «У нас переделки... стук везде, целые дни, извётка, жара... Я переведён в оккупацию... бумаги меня облепили... Галерея заполнена платьем, пах-

нушим камфарой, пылью, разворошенными книгами... Приводится в порядок моя библиотека. Недавно происходило auto-da-fe. Жглись старые стихотворения. неосуществившиеся планы работ, брошенные материалы статей, какие-то выписки, о которых я сам забыл... мои давние... мои честолюбивые... нет... только музлюбивые лета'... мои ночи...мои глаза...За тридцать лет тут порвал я и пожёт бумаги...» (КО, 479). И в другом письме: «Что касается меня, то я с ужасом вижу приближение осени и, в общем, недоволен результатами своего рабочего лета: одно меня утешает, что разобрал свои бумаги (за 30 лет) и сжёг все свои дразнившие меня и упрекавшие материалы, начинания, проекты и вообще дребедень моей бесполезно трудовой молодости» (КО, 480). «Аутодафе» было устроено в доме Эбермана на Московском шоссе Царского Села, где с 1906 года после перемещения с директорского поста проживал Анненский. Значение его невозможно до конца понять без обращения к опубликованному уже после смерти Анненского очерку «Эстетика “Мёртвых душ” и её наследие», в котором автор высказал своё отношение к одному из самых мучительно-горьких событий в истории русской литературы – сожжению Н.В. Гоголем рукописи второй части «Мёртвых душ»: «...ещё прежний Гоголь устроил себе перед очагом последний праздник *золотого перебирания страниц жизни...*» (КО, 226) Статья о Гоголе была завершена летом 1909 года, а год назад он устроил себе собственное «золотое перебирание страниц жизни», с одной лишь разницей: Гоголь сжигал своё будущее, а Иннокентий Фёдорович – своё «удручающее» прошлое, также не ведая о том, что будущего у него осталось совсем мало. И здесь правомернее всего воспользоваться словом, которое прозвучало в его речи о Гоголе – «уподобление» (а никак не копирование – Анненский был человеком, абсолютно чуждым позе). Сжечь рукописи стало его внутренней неотвратимой погрешностью, и часть души Гоголя слилась в этот момент с душой Анненского. (Как и в его сне в «чеховскую ночь», то есть после известия о смерти Чехова, когда его «<...> преследовали картины окрестностей Таганрога» (КО, 458), где он никогда не был, словно бы «уподобился» душе умершего писателя, чьё творчество, по собственному признанию, не любил, но знал цену «высшего родства», не зависящего от личных художественных предпочтений). Он постиг то, что выразил позже в своей статье: «Пусть это не свиток загорается с отнятым у нас сокровищем, а уже готовый потухнуть – вспыхивает напоследок, и тот единственный в мире поэт, который умел слить в экзатической любви к бытию, не к жизни, а именно к бытию, – пыльный

ящик с гвоздями и серой и золотую полосу на востоке и у которого прозрачный и огненный лист клёна, даже сияя из густой темноты своей, не дерзал «кичиться перед рябым столбом придорожья» (КО, 226).

Но вот страницы прежней жизни перебраны, состоялось прощание с юностью, молодостью, с иллюзиями прежних лет. Произошло очищение огнём, освобождение от лишнего. С «аутодофе» начинается новый отчёт жизни, «лебединая песня» «последнего из царскосельских лебедей», «не календарный», а его личный, последний в жизни год (с лета 1908 г. по 30 ноября (13 декабря) 1909 г.). На той же даче Эбермана произошло и другое знаковое событие в жизни И.Ф. Анненского, ставшее ещё одним шагом на пути к внутренней свободе. О нём впервые, через семь лет после смерти поэта, поведала жена его пасынка Платона Петровича — Ольга Петровна Хмара-Барщевская в письме к В.В. Розанову. Заключенный между ними «союз любящих душ» («Мы повенчали наши души...») как нельзя лучше показывает тончайшие и нежнейшие оттенки внутреннего мира Анненского: «<...> ранней весной, в ясное утро мы с ним сидели в саду дачи Эбермана: и вдруг созналось безумие желанья слиться <...> и он сказал: «Хочешь быть мной? Вот сейчас... сию минуту?... Видишь эту маленькую ветку на берёзе? <...> Смотри на неё пристально... И я буду смотреть со всей страстью желанья... Молчи... Сейчас по лучам наших глаз сольются наши души в той точке, Лёленька, сольются навсегда...» <...> И вот он умер для мира, для всех... Но не для меня... Его душа живёт в моей душе... пока я сама дышу...».⁷ По свидетельству О.П. Хмара-Барщевской этому незабвенному моменту было посвящено стихотворение Анненского «В марте»:

Только раз оторвать от разбухшей земли
 Не могли мы завистливых глаз.
 Только раз мы холодные руки сплели
 И, дрожа, поскорее из сада ушли...
 Только раз... в этот раз...

Чуткий и наблюдательный С.К. Маковский, для которого интимная сторона жизни Анненского всегда оставалась интригующей загадкой, почувствовал, что поэт «<...> глубоко переживал какую-то несчастливую любовь. Может быть, одну единственную на всю жизнь? Несчастливую — не потому что без взаимности, а потому что судьба не захотела этой любви».⁸ Подтверждение этому Маковский находил в стихах Анненского, в том числе — и в стихотворении «В марте».

К О.П. Хмара-Барщевской обращено, по-видимому, и одно из самых пронзительно-щемящих в русской любовной лирике стихотворение «Прерывистые строки», созданное в июне 1909 года. Ей, верному другу Анненского, душеприказнице после его смерти, стоически защищавшей его версию перевода Еврипида перед учёными мужами, суждено было стать и духовной наставницей юных царскосельских поэтов.⁹ Один из интереснейших поэтов русского зарубежья, бывший ученик Царскосельской Николаевской гимназии Николай Авдеевич Оцуп в отрочестве подружился с семьёй Хмара – Барщевских.¹⁰

Ольге Петровне он посвятил полные благодарности строки в своём «Дневнике в стихах»¹¹ (издан в 1950 году в Париже), где обращается к ней как к уже ушедшему другу:

Родственница Анненского, Хмара,
Вам спасибо за любовь к моей
Детской музе. Для чужого дара
Были вы нужнейшей из друзей...
Вы, сумевшая в его Софии,
Неизвестного ещё России,

Мага Иннокентия понять
(С глубиной и чуткостью афинской)

Одной из причин, побудивших Н.А. Оцупа эмигрировать из России в 1922 году, стал расстрел его ближайшего друга тех лет Н.С. Гумилёва, который во многом определил для Николая Авдеевича «траекторию» жизненного пути. Не последнюю роль сыграл Н.С. Гумилёв и в судьбе своего бывшего директора по Николаевской гимназии И.Ф. Анненского, став «вестником» разразившихся перемен. Ещё в октябре 1908 года, вскоре после переезда семьи Анненских из дома Эбермана на новую квартиру в доме Панпушко по Захаржевской улице в Софийской части Царского Села, Иннокентий Фёдорович сообщал в письме Е.М. Мухиной: «Я на распутии, я на самом юру, но я не уйду отсюда в самый тёплый угол. Будем свободны, будем всегда не то, что хотим» (КО, 482). Благоговейно относясь к своему учителю и будучи по натуре человеком активным, решительным, энергичным, Гумилёв, по-видимому, не мог смириться с тем обстоятельством, что, перейдя

50-летний рубеж, один из лучших русских поэтов по-прежнему пребывает в литературной и юности. Именно благодаря Гумилёву произошёл прорыв окружавшего Анненского «кольца неизвестности» и выход его из состояния «распутия» на замаячившую впереди дорогу. В самом начале марта 1909 года Н.С. Гумилёв «делегировал» к Анненскому обуреваемого сомнениями, ищущего поддержки и понимания, стоящего на пороге создания нового литературно-художественного журнала «Аполлон» С.К. Маковского. В Царское Село он приехал в сопровождении М.А. Володина, который также ранее с Анненским не встречался. Судя по всему, в этот день Анненского посетили ещё два будущих «аполлоновца»: С.А. Ауслендер и П.П. Потёмкин. (Все четверо оставили свои записи в альбоме Валентина Кривича, сына И.Ф. Анненского, проживавшего вместе с отцом в доме Паппушко).¹² Посещение оказалось невероятно плодотворным: Анненский получил предложение войти в состав редколлегии нового создания, а Маковский приобрёл искреннего друга и верного соратника. С этого дня вокруг дома в тишайшем районе Царского Села — Софии началось раскручиваться судьбоносное колдовращение. Насколько был «литературно» безлюден дом Эбермана на Московском шоссе, настолько жилище Анненского на Захаржевской улице явилось неким магнитом по части притяжения разнообразных людей из писательского мира. И для каждого из них эти встречи с «царскосельским Малларме», как иногда называли Анненского, остались незабываемыми. Прежде всего, поражала исключительная многогранность личности поэта, его невероятно разносторонние дарования. Уникальность Анненского заключалась в способности аккумулировать в себе множество самых различных образов, сохраняя при этом неповторимость собственного «я». К нему, как ни к кому другому, применимо высказывание: «Гений похож на всех, а на него — никто». Неуловим для окружающих в последние годы жизни Анненского был и возраст поэта. Его воспринимали то как совсем молодого, то «человеком средних лет», то молодежато-бодрым стариком.¹³ Сергей Маковский вспоминал: «<...> минутами, несмотря на молодежато и даже молодежато-бодрым фигуры, он казался гораздо дряхлее своих пятидесяти трёх лет. <...> И всё же как обворожительно молод был он <...>». ¹⁴ В шестнадцати непритязательных некоторой будничностью строках стихотворения Анненского «С четырёх сторон чаши» все возраста (детство, молодость, зрелость, старость) слиты в единой картине человеческой жизни. Нам представляется, что противоречия в оценках облика Анненского в его «предсмертный» год связаны с ис-

ключительной особенностью поэта и ему одной ведомой тайны находиться одновременно со всех «четырёх сторон чаши», воплощая собой саму жизнь во всём её временном многообразии.¹⁵

Одним из тех, кто по достоинству «сумел оценить яркую и богатую индивидуальность Анненского и способствовал его вступлению в мир петербургской художественной интеллигенции»¹⁶ был С.К. Маковский. Наряду с другими «аполоноовцами», он стал завсегдатаем дома в Софии. Они виделись с Анненским «изо дня в день», «<...> собирались у него на квартире <...> иногда днём, чаще вечером» и «<...> проводили долгие часы за чайным столом в Царском Селе», обсуждая текущие дела и наслаждаясь обществом Иннокентия Фёдоровича, «<...> всезнающего философа, собеседника обворожительного<...>, непревзойдённого «очарователя ума».¹⁷

Для столь внезапно появившихся на его жизненном пути людей из мира литературы Иннокентий Фёдорович был не только человеком другого поколения, но и редко встречающейся духовной организацией. Однако именно эти отличия определили особую атмосферу их общения. Маковский вспоминал: «Для нас, его друзей-учеников, не было критика снисходительнее, он согревал светом своим всякого, кто с ним соприкасался»¹⁸. Доброта, «отеческая мудрая ласковость к людям», «жалость к ближнему, обречённому вместе с ним на призрачную «голгофу жизни», заставляли преодолевать собственные недуги и проявлять трогательную заботливость по отношению к друзьям. Во время тяжелой болезни Маковского он почти ежедневно посещал его в Петербурге¹⁹, а затем подыскал Сергею Константиновичу, собравшемуся поправить своё здоровье в Царском Селе, так называемый «пансион для выздоравливающих» на углу Колпинской и Дворцовой улиц²⁰. По какой-то причине Маковскому не удалось воспользоваться предложением Анненского, но через год после смерти поэта он переедет на жительство в Царское Село. (В этом самом пансионе Свято-Троицкой общины в конце августа 1921 года А.А. Ахматова получит известие о расстреле Гумилёва, благодаря посредничеству которого состоялось знакомство Анненского с С.К. Маковским)²¹.

Царскосёл Николай Гумилёв в 1909 году все так же оставался постоянным гостем в доме на Захаржевской. Продолжая исполнять выпавшую на его долю «миссию» приобщения Анненского к творческой среде, он посылает письма с приглашениями на устраиваемые им в своей квартире в доме Георгиевского на Бульварной улице литературные вечера («Будет много писателей, и все они очень хотят

познакомиться с Вами. И Вы сами можете догадаться об удовольствии, которое Вы доставите мне Вашим посещением». ²²), предлагает сотрудничество в учреждаемом им журнале «Остров» и участие в «Академии стиха» (Общество ревнителей художественного слова). ²³

Приезжал к Анненскому в Царское Село Максимилиан Волошин, ещё после первого визита написавший ему в письме: «Мне радостно, что <...> я встретил Вас, потому что увидел в Вас (а это так редко!) человека, с которым можно не только говорить, а у которого можно учиться». ²⁴ Наиболее активный период их общения падает на сентябрь — ноябрь 1909 года.

22 мая 1909 года С.К. Маковский привёз в Царское Село ещё одного сотрудника журнала «Аполлон» Вячеслава Иванова. Цель этого визита он определил в письме к Анненскому: «Я предвижу интересный обмен идей с В. Ивановым <...> Мне бы очень хотелось, чтобы Вы очаровали и его, как всех будущих «аполлоновцев». Он может быть чрезвычайно полезен... Весь петербургский молодой писательский мир с ним очень считается. Сделать его «своим» было бы настоящим приобретением <...>» ²⁵

С лета 1909 года количество «литературных посещений» дома на Захарьевской значительно выросло. Спустя месяц после первой неудачной попытки Н.С. Гумилёва познакомить Анненского с поэтом Михаилом Кузминым (10 июля Иннокентия Фёдоровича в Царском Селе не застали), 9 августа эта встреча состоялась, но желаемого результата не принесла. «...Анненский несколько старинно чопорный с поэтической эмфазой, для скептика и остроумца слишком бессистемный, без *clartee* и определённости. Стихи похожи не то на Случевского, не то на Жемчужникова. Дама [жена, Дина Валентиновна — Н.К.] тонна, бывшая красавица, сидела с вышиванием; невестка [О.П. Хмара-Барщевская — Н.К.] мила; вообще, люди милые, но далёкие и не самой первой родственности». ²⁶ Бессистемность, неясность, неопределённость — так преломилась многогранность натуры Анненского при беглом взгляде М.А. Кузмина. Разумеется, у Кузмина с его творческим тезисом о «прекрасной ясности» и с его «биографической запутанностью» «менестреля на готовых хлебах» (как определил его сочувственно, без малейшего намёка на усмешку старинный друг и на долгие годы финансовый покровитель Георгий Чичерин), ²⁷ личность и творчество Анненского могли вызвать только недоумение. Чёткая «старинно-чопорная» жизненная стезя и неизбежная при сложившихся обстоятельствах казённая служба и при этом невероятно — зыбкая, ускользающая, рас-

ползающая мгновенно при малейшем грубом прикосновении стихотворная ткань, кажущаяся порой непонятным бормотанием израненной души.

Непонятость осталась, но встречи продолжались. 4 октября, во время болезни Иннокентия Фёдоровича, М. Кузмин приехал к нему из Петербурга вместе со своим племянником Сергеем Ауслендером, уже бывавшем ранее у Анненского. Об этом посещении своего коллеги по журналу «Аполлон» Кузмин записал в дневнике: «С Серёжей в Царское <...> Пошли через парк к Анненским. Он ещё нездоров, важен, любезен и ораторствует».²⁸ Именно на долю Кузмина выпало получить посвящение к последнему (и программному) стихотворению Анненского «Моя тоска», в котором он продолжил поэтический спор о сущности любви после начатого ранее полемического разговора с Кузминым в редакции «Аполлона».²⁹

Летом 1909 года с И.Ф. Анненским познакомился О.Э. Мандельштам,³⁰ живший в то время на даче в Царском Селе. Он приехал к поэту на велосипеде, что впоследствии сам называл «хамством и мальчишеством», по-видимому, считав, что надлежало прийти пешком. Анненский принял его «<...> очень дружественно и внимательно» и посоветовал для практики заняться переводами.³¹ Позже, по свидетельству Ахматовой, Осип Мандельштам всегда называл Анненского своим учителем и говорил о нём с неизменным пиететом.³² В своей статье «О природе слова» Мандельштам определил совершенно особое место Анненского в истории и русской, и западноевропейской поэзии и назвал его судьбу «удивительной». («Прикасясь к мировым богатствам, он сохранил для себя только жалкую горсточку, вернее, поднял горсточку праха и бросил её обратно в пылающую сокровищницу Запада <...> И в это время директор Царскосельской гимназии долгие ночи боролся с Еврипидом, впитывал в себя змеиный яд мудрой эллинской речи, готовил настой таких горьких, полынно-крепких стихов, каких никто ни до, ни после его не писал».³³)

Ещё один поэт, Василий Комаровский, по словам Маковского, «человск, близкий всей его («Аполлона — Н.К.) литературной семье», которого особенно сближало с Анненским «прозрение в античный мир», в отличие от постоянных гостей дом на Захаржевской «по своей застенчивости вряд ли часто посещал».³⁴ Тем не менее, среди неизданного и утраченного литературного наследия Комаровского, как свидетельствовал Д. Святополк-Мирский, присутствовало «удивительное место об Анненском». По его же утверждению, «<...>

Анненского он высоко ценил и, хотя почти с ним не встречался (несмотря на то, что оба в одно время жили в Царском), хранил благоговейное воспоминание о его личности». ³⁵

О проведённом «вечере у Анненского», который датируется октябрём — ноябрём 1909 года, ³⁶ рассказывает и Георгий Адамович в своём довольно-таки саркастическом очерке («отрывке»). ³⁷ Однако, достоверность изложенного, на наш взгляд, существенно снижается упоминанием среди присутствующих гостей — литераторов Анны Ахматовой, которая никогда не встречалась с Анненским в домашних условиях. Едва ли она, бережно хранившая память о любой сопричастности к своему царскосельскому земляку, стала бы замалчивать столь примечательный факт. К тому же в тот период Ахматова находилась далеко от Царского Села.

Осенью того же года И.Ф. Анненскому нанёс свой первый и последний визит А.А. Блок. ³⁸ Испытывая друг к другу невероятный интерес, явно ощущая и духовное родство, и внутреннюю близость, они, тем не менее, оставались далеки, как две планеты, движущиеся по разным орбитам, и даже общение в домашней обстановке не смогло растопить некоторый «ледок» замкнутости Блока.

Единственную встречу с Анненским подарила судьба на заре юности поэту Николаю Оцупу. В дом на Захаржевской улице осенью 1909 года он попал благодаря Хмара — Барщевским, был там приветливо встречен поэтом и более всего поражён самим тоном их беседы: «Со мной, четырнадцатилетним гимназистом, Анненский говорил как с равным». ³⁹ Позднее, размышляя о поэзии Анненского, Н.А. Оцуп пришёл к важному выводу: «Дело не в том, что он стилистически труден, дело в том, что для понимания Анненского нужно признать право на одиночество». ⁴⁰ Особую атмосферу, царившую в кабинете поэта, Оцупу удалось передать в посвящённых Анненскому строках своей поэмы «Встреча»: ⁴¹

Предчувствуя ещё в прихожей
Свои же строки, в кабинет,
На сумрак Рембранта похожий,
О, не последний ли поэт
Вносил с собой и шорох сада
Екатерины, и страх
Бесцветной жизни. Ты, Эллада,
В его слабеющих мечтах

Ты к нашей жизни приближалась
Так часто. Дивная усталость
Перегруженной тишины.
Где Анненский? И где просторы,
В которых он искал опоры?

Как страшно мы утомлены.

Написанная в эмиграции человеком, прошедшим через горнило страшной эпохи, поэма «Встреча» не только вобрала в себя ностальгию по утраченному детству периода Царскосельского «парадного десятилетия», но и с особой чёткостью обозначила исторический перелом — начало Великой войны, а с нею приход «некалендарного двадцатого века», на пороге которого символично остановился Анненский:

Наслоенье
Веков, исчезни; Третий Рим,
Эпоха цезарей, исчезни!

Сквозь медленный и плотный дым
Всё тягостней и бесполезней
Мерцает Царское Село.

С полей унылых донесло
Проклятия. И без слиянья
Лежат в покое неживом
Дворец, аллеи, изваянья,
И дым, растущий день за днём.

И.Ф. Анненскому не суждено было увидеть закат своего поэтического Отечества. Последние годы его жизни — 1908 — 1909 были временем расцвета Царского Села в преддверии 200-летнего юбилея города. Именно в этот период, после переезда в дом на Захаржевской улице в Софии, Анненский опять территориально приблизился к ставшему для него единственным Царскосельскому саду (Екатерининскому парку). Предыдущее, второе место проживания в Царском Селе — дача доктора медицинских наук А.А. Эбермана, находившаяся за бывшей южной заставой города, казалось бы, могла стать идеальным пристанищем для поэта. Сад Эберманов выходил к берегам

живописного Колонистского пруда и планию перетекал в просторы пейзажного Отдельного парка с его холмистым рельефом и старинными дубовыми аллеями вдоль открытого подовода, несущего воды Таицких ключей в пруды Павловского парка.⁴² Но Отдельный парк Анненского не заинтересовал. Не любивший дальних прогулок, он практически не покидал пределов небольшого приусадебного сада. Через 30 лет для другого поэта — Михаила Кузмина, жившего на бывшей даче Эберманов и даже не представлявшего себе, что этот адрес связан с именем Анненского, буколические картинки Отдельного парка, напротив, станут источником вдохновения. Об этом красноречиво свидетельствует его запись в дневнике: «Урок ручья». Так будет называться следующая книга стихов. Я пишу, что так будет, пусть говорят стихи, но я никогда не забуду прогулки к этому ручью <...>».⁴³

Привязанность И.Ф. Анненского к Екатерининскому парку, абсолютное предпочтение его другим царскосельским садам (по словам Валентина Кривича, он едва ли не ограничивал свои прогулки только им) вполне объяснимы как с точки зрения особого настроения души, так и профессиональных пристрастий учёного-эллиниста. Пространство Екатерининского парка, обильно «населённое» изваяниями мраморных «богов и кумиров», было бы созвучно, соразмерно внутреннему миру поэта. И любимый маршрут прогулок проходил мимо стоявшей среди некошенных трав Эрмитажной рощи «героини» его стихотворения статуи «Расе»⁴⁴ вдоль Большого пруда и до Скрипучей Китайской беседки у края Розового поля — «Эдемского сада» екатерининской эпохи, места игр первых лицейстов. Для Анненского Царскосельский сад, прежде всего, «вечное вместилище воспоминаний». Эту важную особенность он впервые выявил и обозначил в своей юбилейной речи 1899 года «Пушкин и Царское Село»: «<...> именно в Царском Селе, в этом парке “воспоминаний” по преимуществу, в душе Пушкина должна была впервые развиться склонность к поэтической форме воспоминаний, а Пушкин и позже всегда особенно любил этот душевный настрой. <...> его воспоминания были сознанием чувства невозвратности, так было с “Воспоминаниями в Царском Селе» (КО, 309, 316). Анненскому удалось выразить, казалось бы, лежащую на поверхности, но столь трудно уловимую главную и постоянную определяющую Царскосельского сада, воспетого поэтами трёх столетий — от Державина и Пушкина до современников Анненского, продолживших путешествие по царскосельскому «Элизиму теней»: «... Там всё, что

навсегда ушло». В стихотворении «Л.И. Микулич» («Там на портретах строги лица...») Анненский создаёт своё «воспоминание в Царском Селе», «наследуя» в своём веке пушкинское ощущение наполненности Царскосельского сада атмосферой невозвратно-ушедшего прошлого. Ритмическое совпадение строк Анненского со вступлением к поэме «Руслан и Людмила» (начало работы, над которым было положено Пушкиным ещё в Царскосельском Лицее), сочетается с использованием повествовательно-сказочного слова «там»⁴⁵ (...Там воды зыблются светло, // Там гордо царствуют берёзы, // Там были розы, были розы, // Пускай в поток их унесло...» — у Анненского, в соответствии с пушкинскими строками: «Там чудеса, там лучший бродит...» и т.д.). Таким образом, стихотворение получает дополнительную смысловую нагрузку: в самом его «организме» содержится напоминание о Пушкине, посвящение ему и... чуть ли не физическое ощущение его присутствия. И будто бы подхватывая прерванное стихотворение и продолжая тему «избранных» статуй (у Анненского — это «Расе» («Мир»)), вступает Анна Ахматова со своим посвящением мраморной «Римской матроне» из Царскосельского сада: «А там мой мраморный двойник...». Кажется, что оно представляет своего рода «цитату» одного из отрывков трагедии Анненского «Лаодамия», в котором, по мнению исследователя А.В. Фёдорова, «<...> перед нами явно возникает Екатерининский парк».⁴⁶

Когда веков минует тьма и стану
 Я мраморным и позабытым богом,
 Не пощажен дождями, где-нибудь
 На севере, у варваров, в аллее
 Запущенной и тёмной <...> [курсив наш — Н.К.]

В «Мраморном двойнике» Ахматовой очевидны текстуальные совпадения с приведёнными выше словами Гермеса. Её двойник —

Поверженный под старым клёном,
 Озерным водам отдал лик,
 Внимает шорохам зелёным.
 И моют светлые дожди
 Его запекшуюся рану...
 Холодный, белый, подожди,
 Я тоже мраморною стану. [курсив наш — Н.К.]

Ахматова, отбросив промежуточные звенья, напрямую идентифицирует себя с «мраморным двойником», следуя, таким образом, пушкинской традиции осмысления странных чувств, вызываемых царскосельскими статуями. Неясные страхи и сомнения, которые рождали у него «белые в тени дерев кумиры», Пушкин передал в своём до конца неразгаданном стихотворении «В начале жизни школу помню я...» (тон его Анненский назвал «величаво мистическим» (КО, 313)). Сам же он в отображении мраморных изваяний привносит собственное бытийно-философское восприятие, где соседствуют рядом и приобщённость к ним, и отстранённость от них.

Но времени и сил у Анненского для частого посещения любимого парка оставалось всё меньше. Об одной из последних прогулок по Царскосельскому саду он рассказал в письме Н.П. Бегичевой: «Вчера я катался по парку — днём, грубым, ещё картонно-синим, но уже обманно-золотым и грязным в самой нарядности своей, в самой красавости — чумазым, осенним днём, осклизлым, захватанным, нагло и бессильно-чарующим. <...> Мимо, мимо!..» (КО, 492).

В небогатом на изображение Царского Села творчестве Н. Гумилёва главное место занимает стихотворение 1911 года «Памяти Анненского». Воспоминание об Учителе устремляет его поэтический взор в аллеи Екатерининского парка, где «вечером и страшно и красиво» и где голос «одинокой», «последней» музыки Царского Села напрасно призывает «последнего из царскосельских лебедей» (определение, ставшее классическим).

Тень Анненского нашла свой вечный приют в этой «обители воспоминаний» — царскосельском Екатерининском парке. Через пять лет после смерти поэта будущий искусствовед-царскосёл Н.Н. Пунин писал: «<...> Из тех, кто его знал, ни один уже не войдёт в аллеи Царскосельского парка свободным от тоски, меланхолии или хотя бы обычности воспоминания, навязчивого воспоминания о поэте», которое живёт и «в белом мраморе... замерзающих статуй».⁴⁷ Ему вторит ещё один известный царскосёл — Эрих Голлербах: «Чтобы вполне уяснить себе мечтательную, беспомощную, лазурно-эмалевую душу этого человека нужно в ясный осенний день войти «в безлюдные аллеи Царскосельского парка <...>».⁴⁸

Раздвоенность существования Анненского, обозначившаяся с особой остротой осенью 1909 года, заставила его принять решение распрощаться с казённой службой. Предполагая заняться литературным трудом, Анненский подаёт прошение об отставке от должности

окружного инспектора.⁴⁹ Планам Анненского не суждено было сбыться. Он стоял на пороге неведомого будущего, но оно оказалось поглотившей его бездной. Как известно, главным виновником преждевременной и скоропостижной смерти поэта Анна Ахматова посчитала С. Маковского, отложившего публикацию стихов Анненского в журнале «Аполлон», и вынесла ему суровый приговор. Однако тот клубок событий, в центре которых оказался Анненский в 1909 году: проблемы, хлопоты, переживания, насыщенность творческого процесса в сочетании со служебной деятельностью, непонимание и раздражение со стороны некоторых «коллег по перу» его оригинальными критическими отзывами в «Аполлоне», нагрузка на большое сердце, усугубляемая тревогой за «слабеющие глаза» (КО, 492) — всё это может отчасти «реабилитировать» С.К. Маковского, как и слова, обращённые к нему Гумилёвым (в ответ на предложение завести литературным отделом «Аполлона»): «Да поможет мне в этом одинаково дорогое для нас с Вами воспоминанье о Иннокентии Фёдоровиче».⁵⁰

30 ноября 1909 года, в последний день жизни И.Ф. Анненского, словно бы всё пришло в движение, как на той «гоголевской дороге» из его статьи, где мчатся «<...> не вперёд <...> а именно вдаль, в неизвестное <...>».⁵¹ По Варшавской железной дороге, мимо Царского Села, в этот день проехал Александр Блок.⁵² Он спешил к умирающему в Варшаве отцу, даже не подозревая, что вскоре узнает о смерти Анненского, что самому ему предстоит через 12 лет встретиться со смертью в той квартире на Офицерской улице в Петербурге, где в юности вместе с родителями жил Иннокентий Фёдорович.⁵³ Посмертный портрет Блока, сначала плача, а потом рисуя, создаст художник Юрий Анненков,⁵⁴ которому в 1908 году окружной инспектор по фамилии Анненский помог получить аттестат зрелости и открыл, таким образом, дорогу в Университет.⁵⁵ В этот же самый день Н.С. Гумилёв отправился в далёкий неизведанный путь из Киева (там тогда находилась Анна Ахматова) через Одессу и далее в Африку.⁵⁶ Накануне, 29 ноября, он участвовал в вечере современной поэзии и музыки «Остров искусств» вместе с другими «аполлоновцами»: Михаилом Кузминым, Алексеем Толстым, Петром Потёмкиным. Они также провели день 30 ноября в дороге, возвращаясь из Киева в Петербург.⁵⁷ Там их ожидало известие о скоропостижной смерти И.Ф. Анненского. Реакция М. Кузмина была аналогична отклику А. Блока, который заметил после полученного сообщения из Петербурга: «Смерть Анненского <...> очень поразила меня, на

нём она не была написана — или я не узнал её». ⁵⁸ М. Кузмин записал в дневнике: «<...> Анненский умер на вокзале от разрыва сердца. Как неожиданно!» ⁵⁹.

Покинув Царское Село последним ноябрьским ранним утром, И.Ф. Анненский в чередѣ трудов и в переездах провёл в Петербурге целый день. Он не успел осуществить все намеченные планы и, по словам своего сына, «не упал, а именно опустился мёртвым...» ⁶⁰ на ступени у подъезда Царскосельского (ныне Витебского) вокзала. ⁶¹ Молниеносно распространившееся известие о его смерти закружило, сорвало с места, привело в движение как спокойно, так и нетерпеливо ожидавших его людей: родных и домочадцев из Царского Села (сына В. Кривича с женой Н. Штейн, уже ставшую вдовой Дину Валентиновну, О.П. Хмара-Барщевскую с мужем, пасынком Анненского Платоном, верного и незаменимого лакяя Арсфу); племянницу Т.А. Богданович, заручившуюся ранее его подтверждением «непременно обедать у них»; профессора Ф.Ф. Зелинского, покинувшего заседание Общества классической филологии, (куда направлялся, но так и не доехал Иннокентий Фёдорович со своим докладом) и чьи полные слёзы глаза у тела поэта так запомнились Валентину Кривичу; слушательниц женских курсов Раша, где ещё днём Анненский читал лекцию с обещанием посетить их по днюю вечеринку... ⁶²

И самого Иннокентия Фёдоровича ожидало последнее посмертное путешествие — сначала по царскосельской железной дороге в прицепленном к поезду специальном траурном вагоне, ⁶³ и далее — глубокой ночью — сквозь Царское Село, через Софийский (Нижний) бульвар, по которому так любил он проноситься домой на извозчике, «<...> обгоняя всех», чтобы «<...> подняться первым» в Софию. ⁶⁴ Судорожно-горький ритм «посмертной дороги» — в стихотворении Валентина Кривича, посвящённом памяти отца: ⁶⁵

Поднимают... несуг... наклонили...
Так неловко толкают шаги,
Из холодной ноябрьской пыли
Одинокие смотрят стоги.

Потянулись поля и облоги,
Скрип обозов и встречных телег..
Каждый кустик знакомой дороги
Я ловлю из-за каменных век.

За три дня, предшествующих похоронам, на Захаржевской улице в Софии, у гроба Анненского, утопающего в цветах, столь любимых им при жизни, перебивала масса народа всех возрастов и сословий. Отпевание состоялось 4 ноября в Рождественской церкви Николаевской гимназии, где провёл он десять лет на посту директора и куда поступил вечером 30 ноября звонок с горестным известием. Гроб с телом Анненского по декабрьской распутице несли на руках через весь город почти до самого Казанского кладбища. Как вспоминали современники: «До кладбища долго шли пешком <...> на поле ясно и ветрено». «В полях был серый тающий снег, были инеи ветки берёз на мглистом небе <...>». «Всё напоминало знаменитую “Балладу” из “Трилистника смерти”»⁶⁶ (имеется в виду из «Трилистника траурного»).

День был ранний и молочно парный,
Скоро в путь, поклажу прикрутили...
На шоссе перед запряжкой парной
Фонари, мигая, закоптили.
Позади лишь вымершая дача...
Желтая и скользкая... С балкона
Холст повис, ненужный там...но спешно,
Оборвав, сломали георгины.
«Во блаженном...» И качнулись клячи:
Маскарад печалей их измаял...
Жёлтый пес у разорённой дачи
Бил хвостом по ельнику и лаял...

И.Ф. Анненского называли «нерадостным поэтом» (М. Волошин), поэзию его объясняли «испутом перед смертью» (В. Ходасевич) или связывали её с «траурным эстетизмом» (Г. Чулков). Действительно, в стихах Анненского тема смерти звучит постоянно — от возвышенно-философского тона до обыденно-житейской интонации (что само по себе несколько не противоречит миссии поэта — говорить о главном). Но только Анненскому принадлежат те гордо-лучезарные слова, отнимающие у смерти её право на безраздельное господство в этом мире, которыми он завершает свою статью «Юмор Лермонтова»: «Смерть кажется мне иногда волшебным полуденным сном, который видит далеко, оцененно и ярко. Но смерть может быть и должна быть и иначе прекрасной, потому что это — единственное дитя моей воли, и в гармонии мира она будет, если я этого захочу, тоже золотым светилом»⁶⁷.

Примечания

- ¹ Анненский *Иннокентий*. Книги отражений. М., 1979. С. 462 (В дальнейшем — КО с указанием страницы в тексте).
- ² Историко-литературный музей города Пушкина. (В дальнейшем: ИЛМП). НСФ-299. *Корнилова Н.А.* Последний год И.Ф. Анненского в Царском Селе. Историческая справка. 1999; *Корнилова Н.А.* И.Ф. Анненский: последний год, последний день // Царскосельская газета. 1999. № 145. 23 декабря.
- ³ *Гумилёв Н.С.* Письма о русской поэзии. М., 1990. С. 100—101.
- ⁴ *Фёдоров А.* Иннокентий Анненский. Личность и творчество. Л., 1984. С. 47.
- ⁵ Там же. С. 41. За полтора года до перевода решением МНП Анненский был утверждён в должности директора гимназии ещё на 5 лет. (ЦГИА Санкт-Петербурга. Ф. 139. Оп. 1. Д. 10013. Л. 61).
- ⁶ *Богданович Т.А.* <Воспоминания об И.Ф. Анненском> (См.: *Лавров А.В., Тименчик Р.Д.* Иннокентий Анненский в неизданных воспоминаниях // Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник (1981). М., 1983. С. 82 (В дальнейшем — Неизданные воспоминания).
- ⁷ Неизданные воспоминания. С. 119.
- ⁸ *Маковский С.К.* Портреты современников. М., 2000. С. 140—141.
- ⁹ ИЛМП. НСФ-297. *Корнилова Н.А.* «Свидетельство почётного избрания» (К 105-летию со дня рождения поэта Н.А. Оцуца). Историческая справка. 1999. Автографы О.П. Хмара-Барщевской (с пожеланиями успехов в поэтическом творчестве) и её сына В.П. Хмара-Барщевского обнаружены и в записной книжке выпускника Николаевской гимназии 1918 года А.Б. Васенко — в будущем знаменитого учёного-стратонавта, погибшего в 1934 году и захороненного в Кремлёвской стене. (ИЛМП. КП-79). В отроческие годы он занимался литературным творчеством и издавал рукописный журнал. ИЛМП. НСФ-295. *Мощеникова М.А.* А.Б. Васенко: жизнь, творчество, судьба. Историческая справка. 1999.
- ¹⁰ ИЛМП. НСФ-297.
- ¹¹ *Оцуп Н.* Океан времени. СПб., 1993. С. 268.
- ¹² И.Ф. Анненский. Письма к С.К. Маковскому / Публ. А.В. Лаврова и Р.Д. Тименчика // Ежегодник рукописного отдела Пушкинского Дома на 1976 год. Л., 1978. С. 223. (В дальнейшем — Ежегодник).

- ¹³ Фёдоров А. Указ. соч. С. 60—61.
- ¹⁴ Маковский С.К. Указ. соч. С. 138.
- ¹⁵ Корнилова Н., Мощеникова М. Чаши жизни. Ч. 1 (150 лет со дня рождения Иннокентия Анненского) // Царскосельская газета. 2005. № 33. 25—31 августа.
- ¹⁶ Ежегодник. С. 222—223.
- ¹⁷ Маковский С.К. Указ. соч. С. 137—142.
- ¹⁸ Там же. С. 139—140.
- ¹⁹ Там же. С. 157.
- ²⁰ Ежегодник. С. 238.
- ²¹ ИЛМП. НСФ-311. Корнилова Н. А.Л. Ахматова в Детском Селе (1920—1930-е годы). Историческая справка. 2003.
- ²² Гумилёв Н.С. В огненном столпе. М., 1991. С. 223, 226.
- ²³ Краткая литературно-биографическая хроника // Гумилёв Николай. Избранное. М., 1994. С. 357.
- ²⁴ Цит. по: И.Ф. Анненский. Письма к М.А. Волошину / Публ. А.В. Лаврова и В.П. Купченко // Ежегодник. С. 243.
- ²⁵ Цит. по: Ежегодник. С. 226.
- ²⁶ Кузмин М.А. Дневник 1908—1915. СПб., 2005. С. 158.
- ²⁷ Цит. по: Кузмин М.А. Дневник 1905—1907. СПб., 2000. С. 445.
- ²⁸ Кузмин М.А. Дневник 1908—1915. С. 174.
- ²⁹ Головин А.Я. Встречи и впечатления. Письма. Л.; М., 1960. С. 100; Кузмин М.А. Дневник 1908—1915. С. 184.
- ³⁰ ИЛМП. НСФ-317. Корнилова Н.А. Осип Мандельштам и Царское (Детское) Село. Историческая справка. 2004.
- ³¹ Мандельштам Н.Я. Вторая книга. Воспоминания. М., 2001. С. 60.
- ³² Ахматова А. Собр. соч.: В 6 т. Т. 5. М., 2001. С. 149.
- ³³ Мандельштам О.Э. О природе слова // Мандельштам О. Избранное. М., 2001. С. 377.
- ³⁴ Маковский С.К. Указ. соч. С. 139.
- ³⁵ Святополк-Мирский Д., кн. Памяти гр. В.А. Комаровского // Комаровский В.А. Стихотворения. Проза. Письма. Материалы к биографии. СПб., 2000. С. 201.
- ³⁶ Датировано Вадимом Крейдом (Николай Гумилёв в воспоминаниях современников. М., 1990. С. 273).
- ³⁷ Адамович Г. Вечер у Ашпенского // Там же. С. 142—144.
- ³⁸ Блок в воспоминаниях современников. М., 1980. Т. 1. С. 193—194.
- ³⁹ Оцуп Н. Царское Село (Пушкин и Иннокентий Анненский) // Оцуп Н. Указ. соч. С. 507.

- ⁴⁰ Там же. С. 510.
- ⁴¹ Там же. С. 81.
- ⁴² *Мощеникова М., Корнилова Н. И.Ф.* Анненский: последние годы в Царском Селе. (К вопросу о «литературных адресах») // *Иннокентий Фёдорович Анненский. Материалы и исследования. По итогам международных научно-литературных чтений, посвящённых 150-летию со дня рождения.* М., 2009. С. 436.
- ⁴³ *Кузмин М.* Дневник 1934 года. СПб., 1998. С. 72.
- ⁴⁴ Перемещение статуи «Мир» (Расс) из удлиненной тенистой Эрмитажной роши в открытое пространство партера восстановленного регулярного сада у Екатерининского дворца совершенно изменило её восприятие, «не рифмующееся» ныне со стихотворением Анненского. С другой стороны, этот перенос стал весьма символическим — Расс топографически присоединилась к двум другим «воспетым статуям»: рядом — на первом уступе сада стоит статуя Андромеды («Там тоскует по мне Андромеда / С искаленной белой рукой»), напротив — в куртине у Холодных бань до Великой Отечественной войны находился «мраморный двойник» Анны Ахматовой.
- ⁴⁵ *Корнилова Н., Мощеникова М.* Чаща жизни. Ч. II // Царскосельская газета. 2005. № 34. 1—7 сентября.
- ⁴⁶ *Фёдоров А.В.* Судьба Иннокентия Анненского // Материалы научной конференции, посвящённой 130-летию со дня рождения И.Ф. Анненского, г. Пушкин. Историко-краеведческий музей. 1985 г. Машинопись (ИЛМП. ВСН-504).
- ⁴⁷ Цит. по: *Голлербах Эрих.* Царское Слово в поэзии. СПб., 2009. С. 28.
- ⁴⁸ Там же. С. 27.
- ⁴⁹ ЦГИА Санкт-Петербурга. Ф. 139. Оп. 1. Д. 15904. Л. 1. Документ, отправленный по инстанции из Канцелярии попечителя СПб. Учебного округа Министру Народного Просвещения (несмотря на имеющийся в деле машинописный текст прошения, подписанный Анненским), содержит подмену понятий: увольнение от службы, а не от должности, то есть полная отставка. Там же. Л. 2.
- ⁵⁰ Цит. по: *Энгельгардт Н.А.* Из воспоминаний «Эпизоды моей жизни» // Н. Гумилёв. Исследования. Материалы. СПб., 1994. С. 389.
- ⁵¹ *Анненский Иннокентий.* Избр. произв. Л., 1988. С. 625.
- ⁵² ИЛМП. НСФ-299.

- ⁵³ Фёдоров А. Указ. соч. С. 12.
- ⁵⁴ Анненков Ю. Дневник моих встреч. Т. 1. Л., 1991. С. 86.
- ⁵⁵ Там же. С. 53—55.
- ⁵⁶ Краткая литературно-биографическая хроника. С. 358.
- ⁵⁷ Кузмин М. Дневник 1908—1915. С. 191.
- ⁵⁸ Цит. по: Фёдоров А. Указ. соч. С. 56.
- ⁵⁹ Кузмин М. Дневник 1908—1915. С. 191.
- ⁶⁰ Неизданные воспоминания. С. 95.
- ⁶¹ Выходящий на Загородный проспект подъезд вестибюля для пассажиров I и II классов сохранил, как и многие другие помещения вокзала, интерьеры в стиле модерн начала XX века. Корнилова Н.А. Витебский (Царскосельский) вокзал — первое общественное здание в стиле модерн в России // Петербург — место встречи с Европой. Материалы IX Царскосельской научной конференции. СПб., 2003.
- ⁶² Неизданные воспоминания. С. 84, 94—95.
- ⁶³ Там же. С. 95; Кончина И.Ф. Анненского // Царскосельское дело. 1909. № 49. 4 декабря. № 49.
- ⁶⁴ Неизданные воспоминания. С. 100.
- ⁶⁵ Царское Село в поэзии. Антология. СПб., 1999. С. 112.
- ⁶⁶ Кузмин М. Дневник 1908—1915. С. 192; Маковский С.К. Указ. соч. С. 167; Оцуп Н. Указ. соч. С. 511. Царскосёлка Н.Д. Беер вспоминала, что её «...отец был на похоронах Иннокентия Фёдоровича и рассказывал, что день был совершенно таким, как в его балладе, посвящённой Николаю Гумилёву». ИЛМП. ВСП-504.
- ⁶⁷ Анненский Иннокентий. Избр. произв. С. 542.